

ХАРУКИ МУРАКАМИ

ХАРУКИ МУРАКАМИ
НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС



Москва
2021

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(5Япо)-44

М91

Haruki Murakami

NORUWEI NO MORI

Copyright © Haruki Murakami, 1987

Перевод с японского *Андрея Замилова*

Художественное оформление серии *Луизы Бакировой*

Иллюстрация в марке серии:

© lelevien / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Мураками, Харуки.

М91

Норвежский лес / Харуки Мураками ; [перевод с японского А. Т. Замилова]. — Москва : Эксмо, 2021. — 384 с.

ISBN 978-5-04-113303-0

«...По вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битническими бородками, хостесы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники — некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. «Что же это такое? — думал я. — Что все они хотят этим сказать?»

Роман — классика современной японской литературы, принеший автору поистине всемирную известность.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(5Япо)-44

© А. Замилов, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ISBN 978-5-04-113303-0

Глава 1

Мне тридцать семь, и я сижу в кресле «Боинг-747». Гигантский лайнер снижается, пронизывая толщу облаков, и заходит на посадку в аэропорт Гамбурга. Холодный ноябрьский дождь выкрасил землю темным, и техники в дождевиках, флаг на крыше приплюснутого терминала, рекламный щит «БМВ» кажутся унылой фламандской картиной. «Ну что, опять Германия?» — подумал я.

Едва самолет приземлился, погасло табло «Не курить», из динамиков тихо полилась инструментальная музыка. Оркестр исполнял «Norwegian Wood» «Битлз». И эта мелодия, как всегда, разбередила меня. Даже не так: она разбередила меня намного сильнее, чем обычно.

Чтобы голова не раскололась на части, я нагнул-ся, прикрыл лицо ладонями и замер. Вскоре подошла немецкая стюардесса, спросила по-английски:

— Вам плохо?

— Нет-нет, просто голова немного закружилась, — ответил я.

— Вы уверены?

— Спасибо, все хорошо...

Стюардесса приветливо улыбнулась и ушла. Следующей зазвучала мелодия Билли Джоэла.

Разглядывая плывшие над Северным морем мрачные тучи, я думал о потерях в своей жизни: упущенном времени, умерших или ушедших людях, канувших мыслях.

Пока самолет не остановился, пассажиры не отстегнули ремни и не начали доставать с багажных полок свои вещи, я мысленно перенесся на ту поляну. Вдыхал запах травы, кожей чувствовал дыхание ветерка, слышал пение птиц. Было это осенью 1969 года, накануне моего двадцатилетия.

Подошла та же стюардесса, присела рядом, опять поинтересовалась, как я себя чувствую.

— It's all right now, thank you. I only felt lonely, you know¹, — сказал я и улыбнулся.

— Well, I feel same way, same thing, once in a while. I know what you mean², — кивнула она, встала и тоже приятно улыбнулась. — I hope you'll have a nice trip. Auf Wiedersehen!³

— Auf Wiedersehen! — попрощался я.

Даже сейчас, спустя восемнадцать лет, я могу до мельчайших подробностей вспомнить ту поляну. Переливался яркой зеленью лесной покров, с которого за несколько дней подряд дождь смыл всю летнюю пыль. Октябрьский ветер покачивал колосья мисканта. На голубом небосводе словно застыли продолговатые облака. Высокое небо. Настолько высокое, что глазам больно смотреть на него. Ветер проносился над поляной и, слегка ероша волосы Наоко, терялся в ро-

¹ Все в порядке, спасибо. Просто мне стало чуточку одиноко (англ.). Здесь и далее прим. перев.

² Со мной тоже иногда такое бывает. Я вас понимаю (англ.).

³ Счастливого пути! До свидания! (англ., нем.)

ще. Шелестели кроны деревьев, вдалеке слышался лай собаки — тихий, едва различимый, словно из-за ворот в иной мир. Кроме него — ни звука. И ни единого встречного путника. Лишь две кем-то потревоженные красные птицы упорхнули к роще. По пути Наоко рассказывала мне о колодце.

Какая странная штука — наша память... Пока я был там, почти не обращал внимания на пейзаж вокруг. Ничем не примечательный — я даже представить себе не мог, что спустя восемнадцать лет буду помнить его так отчетливо. Признаться, тогда мне было не до пейзажа. Я думал о себе, о шагавшей рядом красивой девушке, о нас с ней и опять о себе. В таком возрасте все, что видишь, чувствуешь и мыслишь, в конечном итоге, подобно бумерангу, возвращается к тебе же. Вдобавок ко всему я был влюблен. И любовь эта привела меня в очень непростое место. Поэтому я не мог позволить себе отвлекаться на какой-то пейзаж.

Однако сейчас в моей памяти первым всплывает именно это: запах травы, прохладный ветер, линия холмов, лай собаки. И вспоминается прежде всего остального — отчетливее некуда. Настолько, что кажется: протяни руку — и до всего можно дотронуться. Однако в пейзаже этом не видно людей. Никого нет: ни Наоко, ни меня. Куда мы могли исчезнуть?.. И почему такое происходит? Все, что мне тогда представлялось важным: и она, и я, и мой мир — все куда-то подевалось. Да, сейчас я уже не могу сразу вспомнить лицо Наоко. У меня остался лишь бездушный пейзаж.

Конечно, спустя время я припоминаю ее черты. Маленькая холодная рука, прямые и гладкие волосы,

мягкая округлая мочка уха и под ней — точка родинки, дорогой верблюжий свитер, который она надевала с приходом зимы, привычка задавать вопросы, всматриваясь в лицо собеседника, голос, который временами почему-то кажется дрожащим... Будто она разговаривает на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Все эти черточки наслаиваются друг на друга — и вдруг, само по себе, вспоминается ее лицо. Причем не как-нибудь, а в профиль. Может, потому, что я всегда ходил сбоку? Повернувшись ко мне, она весело улыбается, слегка наклоняет голову и начинает говорить, вглядываясь в мои глаза. Будто бы ищет скользкую по дну прозрачного источника рыбешку.

Но чтобы вот так представить в памяти лицо Наоко, требуется время. И чем дальше — тем больше времени. Грустно, однако это правда. Сначала хватало пяти секунд, потом они превратились в десять, тридцать, в минуту... Время вытягивалось, словно тень на закате. И вскоре все безвозвратно окутает мрак. Да, моя память необратимо отдаляется от места, где была Наоко. Так же, как и от места, где находился я сам. И только пейзаж — эта октябрьская поляна, словно символическая сцена фильма, повторяясь снова и снова, — всплывает в моей памяти. Картинка продолжает настойчиво пинать в одну и ту же точку моей головы. Эй, очнись, я еще здесь, вставай, вставай и ищи, ищи причину, почему я до сих пор еще здесь. Боли нет. Боли совершенно нет. И только при каждом пинке голова гулко гудит. Но и этот гул рано или поздно исчезнет, как исчезло в конце концов все остальное. Однако в аэропорту Гамбурга, в салоне самолета «Люфтганзы» пинки оказались дольше и сильнее обычного. Очнись, ищи...

Поэтому я пишу. Просто я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге.

...О чем она тогда говорила?

Вот... она рассказывала мне о полевом колодце. Существовал ли такой колодец на самом деле, я не знаю. Может, он — лишь плод ее фантазии. Часть того, что роилось в ее голове в те мрачные дни. Но она рассказала мне о том колодце, и я уже не мог вспоминать поляну без него. Я никогда его не видел, но он остался в моей памяти прочно вписанным в тот пейзаж. Смешно: я помню его до последней детали, прямо на границе поляны и рощи. Трава искусно прикрывает темную дыру в земле, метр диаметром. Ограждения нет. Просто разинула свою пасть дыра. Кое-где потрескались и начали откалываться потемневшие от ветра и дождей камни. В щель между ними ныряет проворная зеленая ящерка. Загляни внутрь — все равно ничего не увидишь. Мне известно только одно: это жутко глубокий колодец. Настолько, что даже трудно представить. И вся дыра эта наполнена мраком — густым, впитавшим в себя все виды мраков этого мира.

— Он и вправду очень-очень глубокий, — сказала Наоко, аккуратно подбирая слова.

Я иногда замечал за ней такую манеру: Наоко говорила очень медленно, подыскивая нужные слова.

— Очень глубокий, но никто не знает, где он находится. Ясно только одно — где-то поблизости.

Она сунула руки в карманы твидового жакета и взглянула на меня. Улыбнулась: мол, я серьезно.

— Ну и жуть. Где-то есть колодец, но никто не знает, где. Свалишься в него — и с концами?

— Точно. А-а-а-а — бум! И конец...

— Но на самом деле этого не происходит?

— Иногда происходит. Раз в два-три года. Вдруг пропадает человек. Сколько бы его ни искали, найти

не могут. Тогда местные жители говорят: «Он провалился в полевой колодец».

— Да, не лучший способ умереть.

— Просто ужас! — воскликнула она и стряхнула с жакета семена травы. — Свернуть себе шею и сразу умереть — еще куда ни шло. А если только ногу сломаешь, уже ничего не поделать. Хоть во все горло кричи, все равно никто не услышит. Никакой надежды, что тебя кто-нибудь найдет. И вокруг — сплошь сороконожки и пауки. Рядом побелевшие кости покойников, темно и сыро. А наверху, как зимний месяц, еле-еле мерцает краешек света. И вот в таком месте медленно и мучительно умирает человек.

— От одной мысли по коже мурашки, — сказал я. — Кто-нибудь должен найти этот колодец и сделать ограду.

— Никому не дано его найти. Поэтому нельзя сходить с верной тропы.

— А я и не схожу.

Наоко вынула из кармана левую руку и сжала мою.

— Не переживай. Тебе... Тебе тоже нечего бояться. Ты передвигаешься кромешной ночью на ощупь и ни за что не провалишься в колодец. И пока я буду рядом с тобой — я тоже.

— Ни за что?

— Ни за что!

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Просто знаю, и все. — Наоко крепко сжала мою руку. И дальше шла молча. — Мне хорошо понятны такие вещи. Но не их причина. Я просто чувствую. Например, сейчас я прижалась к тебе, и мне несколько не страшно. Зло и мрак даже не пытаются заманить меня к себе.

— На словах все получается просто. Может, пусть и дальше так?

— Ты... серьезно?

— Куда серьезнее?

Наоко остановилась. Я тоже. Она положила руки мне на плечи и пристально заглянула в мои глаза. В глубине ее зрачков черная, как смоль, вязкая жидкость выводила диковинные водовороты. Какое-то время этот красивый мрак заглядывал в меня. Затем она приподнялась на носки и прижалась ко мне щекой. На мгновение у меня от радости забилося сердце.

— Спасибо, — сказала Наоко.

— Да брось ты...

— Я очень рада, что ты так сказал. Правда! — И она печально улыбнулась. — Но это невозможно.

— Почему?

— Потому что нельзя. Так очень плохо. Так... — начала было она и замолчала. Я знал, что у нее в голове все кипит от мыслей, и молча шел рядом. — Потому что это неправильно. По отношению и к тебе, и ко мне.

— В каком смысле «неправильно»? — тихо спросил я.

— Ну, не может ведь кто-то один вечно защищать другого. Послушай. Предположим, я выйду за тебя замуж. Ты будешь работать, так? Тогда кто будет защищать меня, пока ты на работе? Кто будет защищать меня, когда ты поедешь в командировку? Что же, я буду рядом с тобой до самой своей смерти? Разве не так? Это же нельзя назвать человеческими отношениями? Да и я тебе когда-нибудь надоем. «В чем смысл моей жизни? Быть талисманом этой женщины?» — скажешь ты. Я так не хочу. И мои проблемы от этого не разрешатся.

— Так не будет продолжаться всю жизнь, — ска-

зал я, обняв ее за талию. — Когда-нибудь наступит конец. Тогда и подумаем, как быть дальше. Тогда, быть может, и ты спасешь меня. Ведь не значит, что мы живем, уткнувшись в ненавистный баланс доходов и расходов? И если я тебе сейчас нужен, используй меня. Ведь так? Почему ты так строго судишь о вещах? Послушай, расслабься, а? Ты напряжена, поэтому и относишься так ко всему окружающему. Расслабишься — станет легче.

— Почему ты так говоришь? — сухо спросила Наоко.

Услышав этот голос, я понял, что сказал лишнее.

— Почему? — снова спросила она, пристально всматриваясь в землю под ногами. — Я и сама знаю, что станет легче, если расслабиться. Что проку от этих твоих слов? Послушай, если я сейчас расслаблюсь, я развалюсь на части. Я до сих пор могла жить только так. И мне больше ничего не остается — продолжать жить так и дальше. Однажды расслабишься — назад не вернешься. А развалюсь — разлетается по кусочкам. Почему ты этого не понимаешь? Почему ты, не понимая этого, можешь говорить, что будешь обо мне заботиться?

Я молчал.

— Меня это беретит намного глубже, чем ты думаешь. Мне холодно, темно... и тревожно. Слушай, почему же тогда ты спал со мной? Почему не бросил?

Мы шли по мертвенно тихому сосновому бору. На лесной тропинке сухо потрескивали под ногами сошедшие трупники сдохших в конце лета цикад. Мы с Наоко не спеша шли по этой тропе, глядя вниз, будто что-то искали на земле.

— Извини. — И Наоко нежно сжала мою руку. Несколько раз кивнула. — Я не хотела тебя обидеть.

Не принимай мои слова близко к сердцу. Нет, правда, извини. Я просто злюсь на саму себя.

— Пожалуй, ты права — я действительно еще плохо знаю тебя. Я, конечно, не дурак, но, чтобы понять некоторые вещи, требуется время. Было б у меня это время, я смог бы в тебе разобраться. И понимал бы тебя лучше всех в этом мире.

Мы остановились, вслушиваясь в тишину. Я переворачивал носком ботинка дохлую цикаду и сосновую шишку, смотрел на небо между ветками сосен. Наоко сунула руки в карманы и, не глядя по сторонам, думала о своем.

— Послушай, Ватанабэ, я тебе правлюсь?

— Конечно.

— Тогда выполнишь две мои просьбы?

— Хоть три.

Наоко засмеялась и кивнула:

— Достаточно двух. Вполне... Первая. Я хочу, чтобы ты понял, как я тебе благодарна за наши встречи. Я очень рада. И они меня спасают. Даже если тебе так не кажется — это так.

— Я опять приеду. А вторая?

— Хочу, чтобы ты помнил обо мне. Чтобы ты всегда помнил, что я жила и была рядом с тобой.

— Естественно, я буду помнить о тебе, — ответил я.

Она молча двинулась дальше. По плечам ее жакета скользили полоски света, падавшего сквозь верхушки деревьев.

Опять послышался собачий лай, но теперь он, казалось, звучал намного ближе. Наоко поднялась на пригорок и, выйдя на опушку соснового бора, сбегала по отлогому склону. Я отставал от нее на два-три шага.

— Постой, здесь может оказаться колодец! — крикнул я ей в спину. Наоко остановилась и, улыб-

нувшись, схватила меня за руку. Дальше мы шли вместе.

— Ты правда меня никогда не забудешь? — тихо, почти шепотом спросила она.

— Никогда, — ответил я. — Мне тебя незачем забывать.

И все же память продолжала неумолимо стираться. Я забыл уже очень многое. Но, извлекая то, что еще помню, я пишу. Иногда мне становится очень тревожно. Я вдруг спрашиваю себя: а не потерял ли я уже что-нибудь очень важное? Внутри у меня есть темное место, которое можно назвать задворками памяти. Вот я и думаю: не превратились ли там какие-то важные воспоминания в мягкую грязь?

В любом случае больше у меня ничего нет. Храня в своем сердце эти несовершенные воспоминания, которые частично пропали совсем и улечиваются дальше с каждой минутой, я продолжаю писать так, будто обгладываю кость. У меня нет другого способа сдержать слово, данное той девушке.

Когда в молодости воспоминания о Наоко были еще свежи, писать я пробовал несколько раз. Но у меня не выходила даже первая строка. Я понимал: получись она тогда, и остальной текст, слово за словом, вылился бы на едином дыхании. Однако дальше первой строки дело не сдвинулось. Все еще было так отчетливо, что я не знал, с чего начать. Так, очень подробная карта не годится из-за того, что чересчур подробна. Но сейчас я знаю. В конечном итоге, думаю я, в несовершенном вместилище, каким является «текст», ко двору придутся только несовершенные воспоминания и несовершенные мысли. Память о Наоко стиралась все больше, а ее саму я понимал глубже и глубже.

же. Сейчас мне ясно, почему она попросила: «Не забывай меня!» Естественно, знала об этой причине и она сама. Знала, что память постепенно сотрется во мне. Поэтому Наоко ничего не оставалось — только потребовать у меня: «Никогда не забывай! Помни обо мне!»

И мне становится невыносимо грустно. Почему? Потому что она меня даже не любила.

Глава 2

Давным-давно, а если точнее — лет двадцать назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда восемнадцать, и я только поступил в институт. Токио я не знал вообще и никогда не жил один, поэтому заботливые родители подыскали мне общежитие. Там нас кормили, имелось все необходимое. Это и повлияло на выбор жилья для неоперившегося восемнадцатилетнего юнца. Естественно, стоимость играла не последнюю роль: она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Принеси свою постель и настольную лампу — и больше ничего покупать не нужно. Будь моя воля, снял бы квартиру и жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление в институт, прибавить сюда ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, выбора уже не оставалось. К тому же, по большому счету, мне самому было все равно, где жить.

Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним по обеим сторонам возвышались ряды исполинских дзелькв — деревьям стукнуло по меньшей мере века полтора. Из-

под них не было видно неба — его полностью скрывали зеленые кроны.

Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам параллельно тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. Эти большие многооконные здания казались переделанными под тюрьму жилыми домами или, наоборот, тюрьмой, обустроенной под жилье. Хотя выглядели они очень аккуратно и мрачными не казались. Из открытых окон играло радио. Занавески во всех комнатах — одинаково кремового цвета: не так заметно, что они давно выгорели.

Дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание. На первом этаже — столовая и большая баня. На втором — лекционный зал, несколько аудиторий и даже комната неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом — еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий, на зеленых газонах, ловя солнечные лучи, вращались поливалки. За главным зданием — поле для бейсбола и футбола и шесть теннисных кортов. Что еще нужно?

Единственная проблема общежития заключалась в царившей здесь радикальной подозрительности. Общежитием управляло некое сомнительное юридическое лицо, состоявшее преимущественно из ультраправых элементов. Их способ управления казался — что естественно, на мой взгляд, — странно извращенным. Чтобы понять его, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания: «Служить идеалам воспитания одаренных кадров для укрепления родины». Сие послужило девизом при создании общежития: согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства... Но это — лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, что это уход от на-

логов, другие — самореклама, третьи — афера для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития. Некто считал, что тут кроется более глубокий смысл. По такой версии, целью создателя была организация подпольной финансовой группировки выходцев из общежития. И действительно, в общаге имелся особый клуб, куда входила элита ее жильцов. Точно не знаю, но несколько раз в месяц проводились семинары с участием основателя, и члены этого клуба затем не испытывали сложностей с трудоустройством. Я не мог судить, насколько правдивы или ошибочны эти версии. У них всех общее одно: тут что-то неспроста.

Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно два года — с весны 1968-го по весну 1970-го. Я не смогу ответить, что продержало меня там все это время. В быту разница между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж и велика.

День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага. Естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития.

Подъем флага — обязанность начальника восточного (где жил я) корпуса, высокого мужчины под шестьдесят, с пронизательным взглядом. В жестковатой с виду шевелюре проскальзывала седина, загорелую шею пересекал длинный шрам. Я слышал, он окончил военную школу в Накано, но, насколько это достоверно, утверждать не берусь. За ним следовал студент в должности помощника поднимающего флаг. Его толком никто не знал. Острижен наголо, всегда

одет в студенческую форму. Я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил. И ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит — студент, что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. И эта пара двух абсолютных антиподов каждый день в шесть утра поднимала во дворе общежития флаг.

В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать эту патриотическую церемонию. В шесть утра, почти одновременно с сигналом радио, парочка показывалась во дворе. Униформист — непременно в черных ботинках под свой студенческий прикид, накановец — в белой спортивной обуви к джемперу. Униформист держал тонкую коробку из павлонии, накановец нес портативный магнитофон «Сони». Накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока. Униформист открывал коробку, в которой лежал аккуратно свернутый флаг. Униформист почтительно передавал флаг накановцу, который привязывал его к тросу. Униформист включал магнитофон.

Государственный гимн.

Флаг легко взвивался по флагштоку.

На словах «...из камней...» он находился еще примерно посередине, а к фразе «...до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались, как по стойке «смирно», и устремляли взоры на флаг. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось.

Вечерний спуск флага производился аналогичной церемонией. С точностью до наоборот: флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии. Ночью флаг не развеивается.

Я не знаю, почему флаг спускали на ночь. Государство остается государством и в темное время суток,

немало людей продолжают работать. Мне почему-то казалось несправедливым, что путеукладчики и таксисты, хостессы в барах, пожарные и охранники не могут находиться под защитой государства. Но это на самом деле не столь важно. И уж подавно никто не обижался. Думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то — пришла в голову мысль, но я на ней не заикливался.

По правилам общежития, перво- и второкурсники жили по двое, студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместная комната площадью около десяти квадратных метров (чуть длиннее обычной комнаты в шесть татами), напротив входа — алюминиевая рама окна, перед окном два параллельно стоящих учебных стола со стульями. С левой стороны от входа — двухъярусная железная кровать. Вся мебель максимально проста и массивна. Помимо столов и кровати, имелись два ящика-гардероба, маленький кофейный столик и самодельная книжная полка. Никакой лирики в обстановке не заметил бы даже самый благожелательный взгляд. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. На оштукатуренные стены приклеены картинки — девушки из «Хэйбон панчи»¹ или где-нибудь содранные постеры порнографических фильмов. Один парень смея ради повесил фотографию случки свиней, но это было исключением среди исключений. Почти во

¹ «Хэйбон панчи» — издававшийся до конца 70-х годов еженедельник, популярный среди молодежи.

всех комнатах стены украшали голые девушки, молодые певицы или актрисы. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература.

Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. Ко дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая кожура, в банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. Глевшие бычки нередко тушились кофе или пивом, отчего из банок ужасно смердело. Посуда вся почерневшая, с остатками еды. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки и непонятные предметы. Взять веник, замести на совок мусор и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату ни возьми — жуткий запах. В каждой комнате он специфичен, но основа везде одинакова: вонь от мусора, тела и пота. Под кроватями у всех скапливается грязное белье, матрас сушится когда придется, и ему ничего не остается, как впитывать в себя сырость, источая устойчивый смрад затхлости. До сих пор с удивлением думаю, как в этом хаосе не возникла никакая смертельная эпидемия.

В сравнении с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу — ни пылинки, окна — без единого пятнышка, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, и даже шторы стирались раз в месяц. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Кому бы я ни рассказывал, что он раз в месяц стирает шторы, никто не верил — никто даже не догадывался, что шторы вообще можно стирать. Все свято полагали, что шторы с окон не снимаются вообще. «Какой-то он странный», — по-

говаривали они. А потом моего соседа начали называть «наци» и «штурмовик».

В моей комнате не было ни одного женского постера. Вместо них висела фотография канала в Амстердаме. Когда я попытался было прикрепить какую-то порнушку, мой сосед со словами: «Ватанабэ, не люблю я этого» — содрал ее и наклеил вместо нее портрет канала. Нельзя сказать, что мне очень хотелось вешать порнографию, поэтому возражать я не стал. Все, кто заходили в нашу комнату, задирали голову на портрет канала и спрашивали:

— Что это? — А я отвечал:

— Штурмовик на это дронит.

Я говорил это в шутку, но все велось. Настолько легко, что потом я и сам начал этому верить.

Все сочувствовали мне, как соседу Штурмовика, но я особого дискомфорта не испытывал. Пока вокруг царил чистота, мне, наоборот, было очень даже удобно; к тому же Штурмовик никогда не вмешивался в мою жизнь. Сам делал уборку, сушил матрас, выносил мусор. Когда же я забывал сходить в баню три дня подряд — шмыгал носом и советовал помыться. Иногда напоминал: «Пора бы тебе постричься» или: «Хорошо бы проредить волосы в носу». Одного я терпеть не мог — когда он, заметив одинокого москита, забрызгивал всю комнату дихлофосом. В такие дни мне оставалось только искать укрытия в хаосе соседних комнат.

Штурмовик изучал географию в одном государственном университете.

— Я изучаю ге-ге-географию, — сказал он, едва мы познакомились.

— Карты любишь? — спросил я.

— Да. Вот закончу учиться — поступлю в Госу-

дарственное управление географии. Буду ка-карты составлять.

Я восхитился: в мире столько разных желаний и целей жизни. Это, пожалуй, стало моим первым восхищением по приезде в Токио. И в самом деле — людей, пылающих страстью к картографии, не так и много. Тем более что много и не требуется — иначе что с ними всеми делать? Однако заикающийся каждый раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в Государственном управлении географии, — это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове «карта» — однозначно.

— А тво-твоя специализация? — спросил сосед.

— Театральное искусство.

— В смысле в спектаклях играть?

— Нет, не это. Читать и изучать драму. Там... Расин, Ионеско, Шекспир...

— Я, кроме Шекспира, больше никого не знаю, — признался он.

— Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекций.

— Ну, то есть тебе нравится?

— Не так чтобы...

Ответ его смутил. И по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние.

— Да мне было все равно, — пояснил я. — Хоть этнография, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, вот мне и захотелось. Просто так. — Но убедить его этим я не смог.

— Не понимаю, — сказал он с действительно непонимающим видом. — Во-вот мне... нравятся ка-карты, поэтому я изучаю ка-ка-картографию. Для этого я специально поступил в токийский институт,

получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так?..

И он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснить. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Ему досталась верхняя кровать, я расположился на нижней.

Он постоянно носил белую майку, черные брюки и темно-синий свитер. С наголо обритой головой, высокого роста, сутулый. На учебу непременно надевал форму. И ботинки, и портфель были черными как сажа. По виду — вылитый студент с «правым» уклоном; может, поэтому окружающие звали его Штурмовиком, хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду, он так и ходил — в чем было. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных тоннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час, и два — пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него.

От раздававшегося в шесть утра гимна он просыпался, как по будильнику. Выходило, что показная церемония поднятия флага была не совсем бесполезной. Штурмовик одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долог. Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы.

Возвращаясь в комнату, с хлопком расправлял и вешал сушить на батарею полотенце, возвращал на место мыло и зубную щетку. Затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику.

Я обычно допоздна читал и спал бы крепким сном до восьми, не реагируя на его утреннюю возню и шум. Но, когда он переходил к прыжкам, я не мог не проснуться. Еще бы: при каждом его подскоке — и нуж-

но заметить, высокою — кровать подскакивала тоже. Три дня я терпел, при этом уверяя себя, что в совместной жизни терпимость необходима, но на четвертый пришел к выводу, что сил у меня больше нет.

— Знаешь, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше? — спросил я прямо. — А то ты мне спать не даешь.

— Но ведь уже полседьмого! — изумленно ответил он.

— Это я и сам знаю. Для меня такое время — еще глухая ночь. Долго объяснять, почему, но это так.

— Не годится. Буду заниматься на крыше — начнут жаловаться с третьего этажа. А под нашей комнатой — склад, поэтому никто и слова не скажет.

— Ну тогда занимайся во дворе. На травке, а?

— Тоже не годится. У ме-меня не транзисторный приемник. Без розетки не работает. А не будет музыки — я не смогу делать зарядку.

И в самом деле: его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор имелся у меня, но принимал только музыкальные стереограммы. «И что теперь?» — подумал я.

— Давай договоримся. Зарядку делай, только подпрыгивай вот так — «прыг-скок», а? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет?

— «П-прыг-скок»? — удивился он. — Что это такое?

— Когда прыгаешь, как зайчик.

— Таких прыжков не бывает...

У меня разболелась голова. Уже было подумал: а и черт с ним, — но раз сам завел разговор, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему «прыг-скок».

— Видишь? Вот так. Такие бывают?

— То-точно, бывают. А я не замечал!

— Ну вот. — Я присел на кровать. — И давай обойдемся без твоих скачков? Все остальное я как-нибудь потерплю — только брось скакать, как лошадь. Дай мне поспать.

— Не годится, — просто сказал он. — Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже десять лет. Каждое утро. Начинаю, и дальше — все машинально. Выброшу что-то одно, и пе-пе-перестанет получаться все остальное...

Больше я ничего не говорил. А что я мог ему сказать? Проще всего было в его отсутствие взять это проклятое радио и выбросить в окно. Но поступи я так, разразился бы скандал — будто люк в ад откроется. Штурмовик был не из тех, кто разбрасывается своими вещами. Когда, лишившись дара речи, я, опустошенный, улегся на кровать, он подошел и попытался меня утешить:

— Ва-ватанабэ, а что, если ты будешь просыпаться и делать гимнастику вместе со мной? — И он отправился на завтрак.

Когда я рассказывал о Штурмовике и его утренней гимнастике, Наоко прыскала со смеху. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге принялся хмыкать сам. Давно я не видел Наоко веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с ее лица.

Мы вышли на станции Йоцуя и зашагали по насыпи к Ичигая¹. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи южным ветром уносило с неба одну за другой. Яркие зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на

¹ Станции Центральной линии железнодорожной сети «Джапэн Рэйлруд».

солнце. В воздухе пахло летом. Люди несли свои свитера и пальто кто на руке, кто перебросив через плечо. В теплом воскресном свете все казались счастливыми. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку и размахивал ракеткой в одних шортах. И только две сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное — судя по одеянию, можно было предположить, что первые летние лучи до них еще не добрались. Но это не мешало сестрам задуховенно беседовать на солнцепеке.

Минут через пятнадцать у меня вспотела спина, и я снял плотную рубашку и остался в одной майке. Наоко закатала до локтей рукава бледно-серой олимпийки. Вещь сильно поношенная, но выцвела приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой олимпийке, но припоминал весьма смутно. Показалось, наверное. В то время я еще знал Наоко очень мало.

— Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми? — спросила Наоко.

— Я сам толком не понял. Пошел только второй месяц. Но в общем — неплохо. Во всяком случае, не в тягость.

Она остановилась перед фонтанчиком, сделала один глоток воды и вытерла рот платком. Затем нагнулась и аккуратно перевязала шнурки.

— Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?

— В смысле совместная? Общежитие, что ли?

— Да, — ответила Наоко.

— Как сказать... Все зависит от того, как посмотреть. Хлопот, конечно, хватает. Дурацкие правила, гонор пошляков. Сосед начинает зарядку в полседьмого. Но если представить, что такого полно и в других местах, перестаешь обращать внимание. Как подумаешь, что больше жить негде, так вполне сойдет и здесь. Помоему.

— А-а, — кивнула Наоко, и, как мне показалось, на некоторое время ее мысли устремились куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь. До тех пор я за ней такого ни разу не замечал. Если подумать, ни разу не доводилось и мне пристально смотреть на нее. Мы впервые шли одни и разговаривали так долго.

— Ты что, в общаге жить собралась? — спросил я.

— С чего ты взял? Просто подумала: что это такое — совместная жизнь? И это, в общем... — Покусывая губы, Наоко подбирала слова, но так и не подобрала. А вместо этого вздохнула и посмотрела наверх. — Не знаю... Хватит об этом.

И разговор прервался. Она зашагала дальше, а я плелся сзади.

Мы встретились почти год спустя. За это время Наоко до неузнаваемости похудела. Впали щеки, шея стала тоньше. Однако не похоже, чтобы девушка болела. Она похудела как-то очень естественно и тихо. Будто бы тело, прячась в узком продолговатом чехле, просто приняло его стройную форму. И Наоко стала даже красивее, чем я до сих пор считал. Я хотел сказать ей об этом, но не смог найти таких слов и промолчал.

Мы совершенно случайно встретились в вагоне Центральной линии. Она села в электричку, собираясь в кино. Я ехал в книжные магазины на Канда¹. В общем, и то, и другое дела нельзя было назвать важными. И когда она предложила выйти, мы вышли. Случайной станцией оказалась Йоцуя. Наедине у нас не нашлось темы для разговора. Я так и не смог

¹ Район Токио, известный скоплением издательств и различных книжных магазинов.

понять, зачем Наоко предложила мне выйти из электрички. Ведь нам с самого начала, в принципе, не о чем было говорить.

Мы вышли на улицу, и Наоко, не объясняя, куда собралась, сразу же зашагала вперед. Мне ничего не оставалось, как идти за ней примерно в метре. При желании расстояние, конечно, можно было сократить, но я почему-то не решался. Я шел за Наоко, разглядывая ее черные волосы, скрепленные большой коричневой заколкой. Когда она смотрела по сторонам, выглядывали маленькие уши. Иногда она оборачивалась что-нибудь спросить. На некоторые вопросы я отвечал, но были и такие, на которые я не знал, что сказать. Случалось, я просто не мог ее слышать. Но ей, казалось, было все равно. Она едва успевала договорить, сразу отворачивалась и продолжала идти вперед. Смирившись, я подумал: «Ладно, все равно хорошая погода».

Но для обычной пешей прогулки шла Наоко как-то слишком серьезно. Она свернула направо, на Итабаси, прошла вдоль рва, затем через перекресток Кампомачи, взобралась на холм Очяно-мидзу и прошла Хонго. Дальше она шагала вдоль линии электрички до Комагомэ. Такой себе пеший марафон... Когда мы дошли до Комагомэ, солнце уже село, и настал мягкий весенний вечер.

— Где мы? — как бы очнувшись, спросила Наоко.

— На Комагомэ, — ответил я. — Ты не заметила, что мы сделали круг?

— Зачем мы сюда пришли?

— Ты привела, я только шел следом.

Мы зашли перекусить в ресторанчик соба¹ рядом со станцией. В горле пересохло, и я заказал пиво. По-

¹ Соба — лапша из гречишной муки.

ка мы ели, никто не произнес ни слова. Я смертельно устал, Наоко же, положив руки на стол, опять о чем-то задумалась. В новостях по телевизору сообщали, в каких экскурсионных местах в этот воскресный день был наплыв посетителей. «А мы от Йоцуя до Комаго-мэ прошли пешком», — подумал я.

— А ты выносливая, — сказал я, доев лапшу.

— Тебе странно?

— Ага.

— Я еще в средней школе бегала на длинные дистанции. Десять-пятнадцать километров. К тому же отец любил альпинизм, и я с малолетства по воскресеньям лазала в горы. У нас они прямо за домом начинаются. Так и привыкла постепенно.

— По тебе не видно.

— Правда? Ты, наверное, считаешь меня хрупким созданием? Нельзя судить о человеке по внешности. — И она как бы слегка улыбнулась.

— Ты, конечно, прости, но я вымотался.

— Извини. Это из-за меня, да?

— Зато я смог с тобой поговорить. Мы раньше никогда не разговаривали наедине. — И я попытался вспомнить, о чем же мы говорили, но так и не смог.

Наоко вращала по столу пепельницу, не замечая ее.

— Послушай, если ты не против... ну, если тебе это не в тягость... мы еще встретимся? Я понимаю, что у меня нет никаких причин так говорить...

— Причин? — удивился я. — Что это значит — «нет причин»?

Она покраснела. Видимо, с удивлением я перестарался.

— Я не могу толком объяснить, — как бы оправдываясь, сказала Наоко. Она сначала закатала оба рукава олимпийки выше локтей, потом снова разгладила их. В электрическом свете пушок у нее на лице

стал красивым, желто-золотистым. — Я не хотела говорить «причина», думала сказать иначе.

Наоко облокотилась на стол и принялась рассматривать настенный календарь. Будто надеялась найти в нем подходящее объяснение. Но, естественно, ничего не нашла. Потом вздохнула, закрыла глаза и потрогала заколку.

— Ничего страшного, — попробовал ее успокоить я. — Кажется, я понимаю, о чем ты. Только сам не знаю, как это сказать.

— Вот и у меня не получается. Причем давно. Соберусь что-нибудь сказать, а в голове какие-то неуместные слова всплывают. Или совершенно наоборот. Собираюсь поправить себя, начинаю еще больше волноваться и говорю что-то лишнее. Оп — и уже не помню, чего хотела в самом начале. Такое ощущение, что мое тело разделено на две половины, которые играют между собой в догонялки. А в центре стоит очень толстый столб, и они вокруг него бегают. И все правильные слова — в руках еще одной меня, но здешняя «я» ни за что не могу догнать себя ту.

Наоко посмотрела мне в глаза:

— Ты это понимаешь?

— Такое в большей или меньшей степени случается с каждым, — изрек я. — Все пытаются выразить себя, но толком у них не выходит, вот они и нервничают.

Наоко мои слова, похоже, несколько разочаровали.

— Но это — другое, — вздохнула она и больше ничего не объясняла.

— Я несколько не против наших встреч, — сказал я. — Все равно по воскресеньям болтаюсь без дела. Да и пешком ходить — полезно для здоровья.

Мы сели на кольцевую линию Яманотэ. На Синд-

зюку Наоко пересела на Центральную. Она снимала маленькую квартиру в Кокубундзи.

— Скажи, моя речь сильно изменилась? — спросила на прощанье она.

— Если и да, то самую малость. Даже непонятно, что именно. Мы тогда встречались нередко, но я, признаться, не помню, чтобы мы разговаривали.

— Точно, — согласилась она. — Можно я позвоню тебе в эту субботу?

— Конечно. Буду ждать...

Впервые я встретился с ней, когда перешел во второй класс старшей¹ школы. Наоко тоже училась во втором классе женской гимназии — миссионерского лицея «для благородных девиц». Настолько благородных, что прилежным ученицам тыкали в спину пальцем и говорили: «Вон мамзель какая пошла!» У меня был очень хороший приятель по фамилии Кидзуки. В общем, даже не приятель, а, прямо скажем, мой единственный друг. И у него была подруга — Наоко. Они с пеленок росли вместе и жили по соседству, менее чем в двухстах метрах друг от друга.

Как это часто бывает с подобными парами, отношения у них были очень открытыми — даже не возникало стремления уединиться. Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали семьями, играли в маджан. Несколько раз устраивали для меня парные свидания. Наоко приводила с собой какую-нибудь одноклассницу, и мы вчетвером ходили в зоопарк, в бассейн или в кино. Признаться, одноклассницы Наоко при всей своей симпатичности были слишком хорошо

¹ Предпоследний школьный класс в Японии. Возраст учеников — 16 лет.

воспитаны для общения со мной. Мне больше подходили девчонки из нашей муниципальной старшей школы, с которыми я мог беззаботно болтать, не обращая внимания на их угловатость. О чем думали хорошенькие девицы из круга Наоко, я совершенно не понимал. Как и они вряд ли могли понять меня.

Поэтому Кидзуки, в конце концов, отказался от парных свиданий, и мы стали просто ходить куда-нибудь втроем: Кидзуки, Наоко и я. Странное дело — так было приятнее всего, и получалось вполне сносно. Появлялся кто-нибудь четвертый — и атмосфера накалялась. А так, пока мы были втроем, я чувствовал себя гостем, Кидзуки — компетентным ведущим, а Наоко — его ассистенткой в телевизионной программе «Беседы со знаменитостью». В центре нашей компании всегда находился Кидзуки. Это он умел: была в нем, сказать по правде, немалая доля сарказма, и потому окружающие считали его высокомерным. На самом же деле он был добр и справедлив. Когда мы оставались втроем, он одинаково внимательно разговаривал и шутил и с Наоко, и со мной и вообще старался, чтобы мы оба не скучали. Как только Кидзуки замечал, что кто-нибудь долго молчит, он обращался к нему и вытягивал собеседника на разговор. Глядя на него, я думал: как, должно быть, это трудно. Но на самом деле, пожалуй, все было намного проще. Кидзуки умел мгновенно оценивать тональность беседы и действовал по ситуации. Вдобавок у него имелся редкостный талант извлекать из посредственного в целом собеседника что-нибудь интересное. Потому мне и казалось, что я — очень интересный человек и веду не менее интересный образ жизни.

Но общительным человеком назвать его было нельзя. И в школе он ни с кем не дружил — если не считать меня. Я же никак не мог понять, почему этот

дерзкий и талантливый человек не направляет свои способности в более широкий мир, а довольствуется нашим тесным кругом. Как и причину того, почему он выбрал себе в приятели именно меня. Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку, но считал себя человеком обычным и неприметным. Ну не было во мне ничего выдающегося. Несмотря на это, мы сразу же сошлись характерами и подружились. Его отец был зубным врачом и славился высоким мастерством и не менее высокими расценками.

— Как ты? Не против сходить куда-нибудь вчетвером? Моя подруга из женского лицея приведет симпатичную девчонку, — предложил Кидзуки, едва мы успели познакомиться. Я согласился. Так я и встретился с Наоко.

Хотя виделись мы часто и проводили втроем немало времени, когда Кидзуки однажды пришлось отлучиться и мы с Наоко остались наедине, разговор никак не складывался. Мы просто не знали, о чем говорить: на самом деле у нас не было ни одной общей темы. Что уж тут? Мы молча пили воду и двигали стоявшие на столе предметы. В общем, ждали, когда вернется Кидзуки. А с его появлением беседа возобновилась. Наоко была не из самых разговорчивых, да и мне больше нравилось слушать, чем говорить самому. Поэтому, оставаясь с нею наедине, я чувствовал себя неуютно. Вовсе не значит, что мы не подходили друг другу. Просто нам не о чем было говорить.

Через две недели после похорон Кидзуки один раз мы с Наоко встретились. Оставалось небольшое дело, и мы договорились о свидании в кафе. А когда все обсудили, больше и разговаривать оказалось не о чем. Я попытался разговорить ее, но беседа постоянно обрывалась на полуслове. Плюс ко всему отвечала она

резковато. Будто бы сердилась на меня, но почему — я не знал. Мы расстались и до случайной встречи год спустя в электричке не виделись ни разу.

Может, Наоко сердилась, что не она, а я был последним, кто разговаривал с Кидзуки? Может, это звучит неэтично, но я, кажется, понимал ее настроение. И будь это возможно, хотел бы, чтобы на моем месте оказалась она. Однако что случилось, то случилось. И что бы мы себе ни думали, уже ничего не изменить.

В тот погожий майский день мы пообедали, и Кидзуки предложил вместо оставшихся занятий покатать шары. Я тоже не испытывал к оставшимся урокам особой симпатии, и мы, выйдя из школы, спустились с пригорка до порта, зашли в бильярдную и сыграли четыре партии. Когда я легко выиграл первую, Кидзуки сразу стал играть всерьез и в оставшихся трех отыгрался. По уговору я заплатил за игру. За все время он ни разу не пошутил — а для него это большая редкость. Закончив игру, мы сели перекурить.

— Ты какой-то серьезный, — заметил я.

— Сегодня не хотелось проигрывать, — улыбнулся он.

Той же ночью он умер в гараже собственного дома. Протянул от выхлопной трубы «N-360»¹ резиновый шланг, залепил окна в салоне липкой лентой и запустил двигатель. Долго ли он умирал, я не знаю. Родители уезжали навестить кого-то в больнице, а когда вернулись и открыли двери гаража, Кидзуки уже

¹ Популярная во второй половине 60-х годов XX века малолитражка «Хонды».

был мертв. И только радио играло в машине да дворники прижали к стеклу чек с автозаправки.

Ни предсмертной записки, ни очевидных причин. Поскольку я был последним, кто встречался и разговаривал с ним, меня вызвали в полицию на допрос. «По нему ничего не было видно, вел себя как всегда», — сказал я следователю. Видимо, ни я, ни Кидзуки на следователя положительного впечатления не произвели. В его глазах читалось: «Что может быть странного в самоубийстве человека, который вместо занятий катает шары?» В газету поместили короткий некролог и на этом дело закрыли. «N-360» пустили под пресс. Некоторое время на парте Кидзуки стояли белые цветы.

Оставшиеся десять месяцев до окончания школы я не мог найти себе места в окружающем мире. Сблизился с одной девчонкой, но не выдержал и полугода. Она так и не вызвала у меня никаких чувств. Я выбрал частный токийский институт, куда наверняка можно было поступить без особой подготовки. И совершенно спокойно стал студентом. Девчонка просила не уезжать в Токио, но мне хотелось непременно покинуть Кобэ. И начать новую жизнь в городе, где меня никто не знает.

— Тебе наплевать на меня, потому что я спала с тобой? — в слезах говорила она.

— Вовсе нет.

Просто мне хотелось уехать подальше от своего города, но она этого не понимала. И мы расстались. В кресле «синкансэна» в Токио я вспоминал все хорошее, что было в ней, и раскаивался от того, какую подлость совершил. Но было уже поздно. Лучше забыть о ней.

Когда я поселился в токийском общежитии и начал новую жизнь, мне требовалось лишь одно: не брать в

голову разные вещи и как можно лучше постараться отстраниться от них. Я решил насовсем забыть зеленое сукно бильярдного стола, красный «N-360», белые цветы на парте, дым из трубы крематория и тяжелое пресс-папье на столе следователя. Первое время казалось, что мне это удастся. Но сколько бы я ни пытался все забыть, во мне оставался какой-то аморфный сгусток воздуха, который с течением времени начал принимать отчетливую форму. Эту форму можно выразить словами.

**СМЕРТЬ — НЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЖИЗНИ,
А ЕЕ ЧАСТЬ.**

На словах звучит просто, но тогда я чувствовал это не на словах, а упругим комком внутри своего тела. Смерть закралась и внутрь пресс-папье, и в четыре шара на бильярдном столе. И мы жили, вдыхая ее, словно мелкую пыль.

До тех пор я воспринимал смерть как существо, полностью отдаленное от жизни. Иными словами: «Смерть рано или поздно приберет нас к рукам. Однако до того дня, когда смерть приберет нас к рукам, она этого сделать не может». И такая мысль казалась мне предельно точной теорией. Жизнь — на этой стороне, смерть — на той. Я нахожусь по эту сторону, и там меня нет.

Однако после смерти Кидзуки я уже не мог так просто воспринимать смерть (как и жизнь тоже). Смерть — не полярная жизни субстанция. Смерть изначально существует во мне. И как ни пытайся, устранившись от нее невозможно. Унеся Кидзуки в ту майскую ночь семнадцатилетия, смерть одновременно схватила и меня.

С таким вот сгустком внутри я проводил свою восемнадцатую весну. И при этом старался не горевать, потому что в глубине души понимал: горевать —

не значит непременно приближаться к истине. Хотя, если подумать, смерть оставалась горькой правдой. В этой удушливой противоречивости я продолжал свое бесконечное странствие. Сейчас уже можно сказать: то было странное время. В самом водовороте жизни все вращалось вокруг смерти.

Глава 3

Наоко позвонила в следующую субботу, и мы условились о свидании на воскресенье. Пожалуй, наши встречи можно назвать свиданиями, поскольку другие слова в голову не приходят.

Как и в прошлый раз, мы гуляли по городу, зашли в какое-то кафе, опять гуляли, вечером поужинали и, попрощавшись, расстались. Наоко по-прежнему лишь изредка роняла отдельные слова и особо не обращала на это внимание. Я тоже не припомню за собой осмысленного разговора. Когда совпадало настроение, мы рассказывали о своей жизни и учебе, но все эти рассказы получались бессвязными. Прошрое оставалось для нас табу. Мы лишь бродили по городу, благо Токио — город большой, и весь его не исходишь.

Мы встречались почти каждую неделю и продолжали гулять. Она шагала впереди, я немного отставал. У Наоко имелось большое количество заколок разных форм, и всеми она непременно открывала правое ухо. Тогда я видел перед собой лишь ее затылок и прекрасно помню его до сих пор. Когда Наоко стеснялась, она вертела заколку в руках. И часто вытирала платком рот. Была у нее такая привычка: промакивать рот, прежде чем что-нибудь сказать. Глядя на нее, я постепенно проникался к ней симпатией.

Она училась в институте на окраине Мусасино. Укромное учебное заведение славилось преподаванием английского языка. Вблизи ее дома располагался живописный водоем, и мы иногда гуляли вокруг него. Наоко приглашала меня к себе, готовила еду и, похоже, несколько не обращала внимания на то, что мы оставались наедине. Уютная комната, ничего лишнего. Если бы не сохшие на окне колготки, трудно было поверить, что здесь живет девушка. Наоко существовала очень просто и аккуратно и подруг почти не имела. Помня ее со школьной поры, я не мог предположить в ней такие перемены. В те годы Наоко одевалась изысканно, и ее всегда окружали подружки. У нее дома я понял, что Наоко, так же как и я, после школы хотела уехать на учебу в другой город, чтобы начать жизнь в таком месте, где ее никто не знает.

— Я выбрала этот институт потому, что из нашей школы никто сюда не поступал, — улыбнулась она. — Наши выбирают институты пошкарней. Догадываешься, какие?

Нельзя сказать, что в наших отношениях не было прогресса. Постепенно Наоко привыкала ко мне, а я — к ней. Закончились летние каникулы, начался новый семестр, и она очень естественно — как само собой разумеется — начала ходить рядом со мной. Думаю, так она дала понять, что признала меня своим другом, и мне было очень приятно гулять с такой красивой девушкой. Мы продолжали бесцельные прогулки по Токио: взбирались на холмы, переправлялись через реки, переходили дороги и продолжали куда-то идти. У нас не было цели. Нам было достаточно просто идти куда-нибудь. Мы увлеченно шагали, будто выполняли некий ритуал для успокоения души. Когда лил дождь, ходили под зонтиком.

Вскоре наступила осень, и весь внутренний двор

общежития усыпали листья дзельквы. Надевая свитер, я почувствовал запах нового времени года. Истопталась обувь, и я купил новую пару — из замши.

Мне трудно припомнить, о чем мы тогда говорили. Думаю, вряд ли о чем-то серьезном. И по-прежнему не касались прошлого. Имя Кидзуки почти не всплывало в наших разговорах. Мы вообще говорили нечасто и привыкли просто молча смотреть друг на друга в каком-нибудь очередном кафе.

Наоко хотела больше узнать о Штурмовике, и я часто рассказывал о нем. Один раз он сходил на свидание с однокурсницей (разумеется, с факультета географии), но вечером вернулся очень унылый. Было это в июне. Штурмовик спросил меня:

— Послушай, Ватанабэ, ты с де-девчонками о чем говоришь... обычно?

Я не помню, что ответил ему тогда, но одно могу сказать точно: он явно задал вопрос не по адресу. В июле, пока его не было, кто-то содрал фотографию амстердамского канала и наклеил вид моста Золотые ворота в Сан-Франциско — видимо, из чистого любопытства: сможет ли Штурмовик дрончить, разглядывая мост? Стоило мне сообщить, что делал он это с радостью, в следующий раз наклеили ледники. Однако после каждой такой смены декораций Штурмовик сильно расстраивался:

— В конце концов, к-к-кто это делает?

— Ну-у... А что плохого? Фотографии-то все красивые, как на подбор. Кто бы это ни был, мы должны радоваться.

— Так-то оно так. Но все равно — противно.

Эти истории смешили Наоко. Она смеялась редко, и я старался веселить ее байками о Штурмовике, хотя, по правде говоря, мне вовсе не хотелось выставлять его посмешищем. Он просто был чересчур серьезен:

третий сын в совсем не богатой семье. Лишь карты были скромной мечтой его скромной жизни. Кто вправе над этим смеяться?

При этом «байки о Штурмовике» уже стали одной из постоянных тем для разговоров в общежитии. Даже если б я попытался в тот момент их прекратить, сделать это оказалось бы невозможно. К тому же мне было приятно видеть улыбку на лице Наоко. Поэтому я продолжал снабжать окружающих новыми историями о Штурмовике.

Лишь один раз Наоко поинтересовалась, есть ли у меня подруга. Я рассказал о той, с которой расстался.

— Хорошая была девчонка, мне нравилось с ней спать, и я до сих пор иногда по-доброму ее вспоминаю. Но почему-то она мне была не по сердцу. Видимо, сердце прячется в твердой скорлупе, и расколоть ее дано немногим. Может, поэтому у меня толком не получается любить.

— Ты что, никого не любил? — спросила Наоко.

— Нет.

Больше она ничего не спрашивала.

Когда задули холодные осенние ветры, она, бывало, прижималась к моей руке. Через толстый ворс ее пальто я ощущал тепло. Она брала меня под руку, ладошкой залезала мне в карман, а когда холодно становилось невыносимо, дрожала, крепко уцепившись за меня. Но это ни о чем не говорило. В ее поведении не было ничего двусмысленного. Я продолжал идти как ни в чем не бывало, руки в карманах. Обувь у нас была на резиновой подошве, и шаги почти не слышались. Лишь сухо шуршало под ногами, когда мы наступали на опавшие листья огромных платанов. Я вслушивался в шуршание листьев, и мне становилось жаль Наоко. Ей была нужна не моя, а *чья-нибудь* рука. Ей

требовалось не мое, а *чье-нибудь* тепло. И я начал чувствовать себя виновным за то, что я — это я.

Чем больше зима вступала в свои права, тем прозрачнее казались глаза Наоко. Такая безысходная прозрачность. Иногда Наоко без всякой причины всматривалась в мои глаза, будто что-то искала в них. И каждый раз мне становилось невыносимо грустно.

Я начал подумывать, что она, видимо, хочет мне что-то сообщить, но не может найти слов. Нет, даже не так. Прежде чем выразить словами, она не может сформулировать мысль в себе. Поэтому и на словах ничего не выходит. Она лишь то и дело сжимает за колку, вытирает платком рот и бессмысленно всматривается в мои глаза. Иногда мне хотелось обнять ее, но я всякий раз сомневался да так и не решился. Мне казалось, что тем самым я могу ее обидеть. И мы по-прежнему продолжали гулять по Токио, а Наоко — выискивать в пустоте слова.

Общежитские поддразнивали меня, когда звонила Наоко или я по утрам в воскресенье собирался уходить. Они, разумеется, полагали, что у меня завелась подружка. Я не собирался им ничего объяснять и даже не видел в этом необходимости, а потому оставлял все как есть. Когда я возвращался вечером в общагу, кто-нибудь непременно интересовался, какая была поза, как у нее там внутри, какого цвета трусики. Мне оставалось лишь что-нибудь выдумывать в ответ на эти пошлости.

Незаметно мне исполнилось девятнадцать. Выходило и заходило солнце, спускался и поднимался флаг, а я по воскресеньям встречался с подружкой покойного друга. Я не осознавал ни что сейчас делаю, ни как быть дальше. На лекциях я слушал про Клоделя, Ра-

сина и Эйзенштейна, но мне они ничего не дали. Товарищей среди однокашников я себе не завел, с соседями по общежитию только здоровался. Я постоянно читал книги, и общежитские считали, что я собираюсь стать писателем. А я не собирался становиться писателем. Я вообще не собирался становиться никем.

Несколько раз я порывался рассказать о своих мыслях Наоко. Мне казалось, она должна правильно понять мое настроение. Но подобрать слова, чтобы выразить свои чувства, не мог.

«Странное дело, — думал я, — будто бы заразился от нее болезнью поиска слов».

В субботу вечером я садился на стул в коридоре возле телефона и ждал звонка от Наоко. По субботам все уходило в город, и в коридоре становилось тише обычного. Разглядывая витавшие в безмолвном пространстве частички света, я пытался разобраться в себе. Что мне нужно? И что нужно людям от меня? Я не мог подыскать достойный ответ. Иногда я протягивал к витающим частичкам света руку, но пальцы ничего не касались.

Мне нравилось читать, но читал не *запоем*, а с удовольствием по несколько раз перечитывал любимые. В те годы — Трумэна Капоте, Джона Апдайка, Скотта Фицджеральда, Рэймонда Чандлера. Ни в классе, ни в общежитии никто больше не любил этих писателей. Все предпочитали романы Кадзуми Такахаси¹, Кэндзабуро Оэ, Юкио Мисимы или же современных французов. Интересы у нас не совпадали, поэтому я молча продолжал глотать книги в одиночестве. Пере-

¹ Ка д з у м и Та к а х а с и (1931—1971) — японский политический писатель и критик, участник студенческого движения.

читав в очередной раз, я закрывал глаза и вдыхал книжный запах. Нюхая корешок, прикасаясь руками к страницам, я чувствовал себя счастливым.

В восемнадцать самым любимым произведением у меня был роман Джона Апдайка «Кентавр». Однако затем он приелся, и пальма первенства перешла к «Великому Гэтсби» Фицджеральда. С тех пор этот роман был для меня лучшим. Я завел обычай: в хорошем настроении доставать с полки эту книгу, открывать и перечитывать с первой попавшейся страницы. И ни разу я не остался разочарованным, поскольку в книге не было ни одной посредственной страницы. «Какая прекрасная вещь», — думал я. Мне хотелось поведать об этом всем, но вокруг не было никого, кто прочитал бы его или хотя бы считал, что стоит прочесть. В 1968 году чтение Фицджеральда не возбранялось, но при этом однозначно не рекомендовалось.

В то время в моем окружении имелся только один человек, который читал Фицджеральда. Благодаря этому мы и подружились. Звали его Нагасава. Он учился на два курса старше меня на юрфаке Токийского университета. Мы жили в одном общежитии и знали друг друга в лицо. Когда однажды я, греясь на солнышке в столовой, читал «Великого Гэтсби», он присел рядом и спросил, что за книга. Я ответил.

— Интересная? — осведомился он.

— Перечитываю в третий раз. И чем больше читаю, тем больше интересных мест.

— Читающий в третий раз «Великого Гэтсби», пожалуй, может стать моим другом, — раздумчиво произнес он.

Так мы подружились. Было это в октябре.

Чем лучше мы узнавали друг друга, тем больше Нагасава казался мне странным малым. За свою жизнь мне приходилось знакомиться, общаться и расста-

ваться с большим количеством странных людей, но такого странного я видел впервые. Он читал столько, что мне за ним было не угнаться, но брал в руки только книги писателей, после смерти которых прошло больше тридцати лет. И при этом говорил, что верит только таким книгам.

— Не подумай, что я не доверяю современной литературе. Просто не хочу тратить ни минуты на книги, не прошедшие проверку временем. Жизнь коротка.

— Какие авторы тебе нравятся? — спросил я.

— Бальзак, Данте, Джозеф Конрад, Диккенс, — немедленно ответил он.

— Современными их не назовешь.

— Потому и читаю. Будешь читать то же, что остальные, — начнешь думать, как все. А они — сплошь деревенщина, мещане. Приличный человек такой стыдобы не потерпит. Знаешь, Ватанабэ, в этом общезжитии только два приличных человека: ты и я. Все остальные — шваль.

— С чего ты это взял?

— Просто знаю, и все. У них на лбу написано. Один взгляд — и сразу все понятно. К тому же мы оба читаем «Великого Гэтсби».

Я посчитал в уме.

— Но Скотт Фицджеральд умер лишь двадцать восемь лет назад.

— Какая разница? Из-за двух-то лет... Такому классному писателю можно и простить.

В общезжитии никто не знал, что он — тайный почитатель классики. А если бы и узнали, вряд ли обратили внимание. Его в первую очередь считали очень умным человеком. Еще бы: без проблем поступил в Токійский университет, получал хорошие оценки, сдал экзамен в МИД и собирался стать дипломатом. Его отец имел в Нагоя крупную клинику, старший брат

окончил медицинский факультет Токийского университета, чтобы продолжить дело отца. С виду — идеальная семья. Он всегда получал достаточно денег на карманные расходы, к тому же — выглядел прилично. Поэтому все обращали на него внимание, и даже в общепитии никто не смел ему перечить. Когда он кого-нибудь о чем-либо просил, человек выполнял просьбу безропотно. Иначе и быть не могло.

Был у него некий природный магнетизм, врожденная способность притягивать к себе людей. Он, как бы возвышаясь над остальными, моментально оценивал ситуацию, искусно и убедительно давал окружающим директиву, увлекая их за собой. Все с первого взгляда видели над его головой похожую на ангельский нимб ауру этой силы и с почтением понимали, что он — человек не простой. Поэтому все жутко удивились, узнав, что такой ничем не приметный парень, как я, был выбран в персональные друзья Нагасавы. Меня зауважали даже те, кого я вообще не знал. Причина такого, несмотря на всю простоту, была им непонятна. Я приглянулся Нагасаве потому, что несколько перед ним не трепетал и не восхищался им. Я питал к нему интерес, как к личности местами весьма интересной, местами сложной. И мне были совершенно безразличны его успехи в учебе, аура или внешность. Пожалуй, мало кто к нему так относился.

В Нагасаве сочетались несколько диаметрально противоположных особенностей характера. Он был личностью настолько выдающейся, что я сам иногда диву давался, — и при этом оставался человеком по натуре недобрым. Хвастался утонченной душой, а при этом грешил неисправимым мещанством. Он управлял людьми и с оптимизмом двигался вперед, но его сердце одиноко билось в конвульсиях на дне мрачного болота. Я сразу разглядел в нем это противоречие и

не мог понять, почему остальные не видят его с этой стороны. Этот человек по-своему стоял одной ногой в аду.

В целом же, можно сказать, мы дружили. Главной его добродетелью была откровенность. Он никогда не лгал и честно признавал собственные ошибки и недостатки. Не пытался скрывать невыгодные для себя моменты. Всегда был вежлив со мной и во всем помогал. Если б не он, моя жизнь в общежитии была бы куда хлопотней и неуютней. Несмотря на это, я ни разу не доверился ему. И в этом смысле моя дружба с Нагасавой была совершенно иной, нежели с Кидзуки. С тех пор как Нагасава, изрядно выпив, жестоко обошелся с одной девчонкой, я решил, что не доверюсь этому человеку, что бы ни случилось.

О Нагасаве в общежитии ходило несколько легенд. Первая — что он съел целых три слизняка, другая — что у него огромных размеров пенис и он переспал с доброй сотней девчонок.

История со слизняками была правдой. Как-то я поинтересовался, и он ответил, что так оно и было:

— Да. Съел три крупных слизняка.

— Зачем?

— Была причина, — ответил он. — Когда я въехал в это общежитие, между первокурсниками и старшими возникла небольшая потасовка. Было это в сентябре. Точно. Я пошел к старшекурсникам разбираться, а они все из «правых», у всех деревянные мечи. В такой обстановке не до переговоров. Вот я и подумал: сделаю все, лишь бы замять дело самому. Так и сказал им: «Давайте договоримся». А они: «Слабó проглотить слизняка?» — «Запросто», — говорю. И проглотил. Они откуда-то достали три жирных...

— Ну и как?

— Как-как... Это может понять только тот, кто

глотал слизняков... Противно, когда они, проскользнув в горло, стучаются о дно желудка. Слизкие, изо рта вонь. Как вспомню, так вздрогну. Изю всех сил сдерживался, чтобы там же не вырвало. Суди сам: выблрой я их перед этими уродами, пришлось бы глотать заново. В конце концов проглотил все три.

— А потом?

— Разумеется, вернулся к себе, выпил воды с солью, — сказал Нагасава. — А что еще было делать?

— Это точно, — согласился я.

— Но с тех пор никто мне и слова сказать не может. Даже старшекурсники. Еще бы: кто еще может слизняков глотать? Никто.

— Никто, — повторил я.

Проверить размер пениса оказалось проще простого — стоило лишь сходить вместе в баню. Действительно впечатляющий. Байка о ста девчонках оказалась преувеличением.

— Около семидесяти пяти, — подумав, ответил он. — Точно не помню, но больше семидесяти — это факт.

Я ему:

— А я — только с одной.

Он:

— Слушай, ничего сложного. В следующий раз пойдем со мной. Не бойся, получится.

Тогда я ему не поверил, но на деле все действительно оказалось очень просто. Настолько, что я чуть не разочаровался. Мы с ним заходили в какой-нибудь (как правило, знакомый) бар на Сибубя или Синдзюку, подсаживались к двум симпатичным подружкам (благо мир полон женских парочек), болтали, выпивали, потом шли в гостиницу и занимались сексом. Признаться, Нагасава был классным рассказчиком. Хотя разговоры у нас были, по сути, ни о чем. Когда

он говорил, девчонки приходили в восторг, заслушивались, снова и снова отхлебывая из бокала, быстро пьянели и укладывались к нему в постель. Вдобавок ко всему, он был симпатичен, вежлив и внимателен: как только девчонки оказывались в его компании, у них поднималось настроение. Странно, однако, другое. С ним и я сам начинал казаться человеком пленительным. Стоило мне что-нибудь рассказать, и девчонки заслушивались точно так же и так же смеялись, будто говорил не я, а он. Всему причиной была его обаятельность. И каждый раз я ловил себя на мысли, какой у него полезный талант, по сравнению с которым красноречие Кидзуки начинало выглядеть детским лепетом. Совсем иной масштаб. Но даже под воздействием чар Нагасавы я нередко вспоминал Кидзуки и как бы в очередной раз убеждался, каким он был честным человеком. Он берег свой скромный талант ради нас с Наоко, а Нагасава разбрасывался им играючи. Он не собирался всерьез спать со всеми этими девчонками. Для него это была только игра.

Мне и самому не очень нравилось спать с незнакомыми. Согласен, то был легкий способ укротить собственное влечение. Мне было приятно с ними обниматься, прикасаться к ним. Противно было одно — утренние расставания. Просыпаешься, а рядом храпит очередная незнакомка, по всей комнате — запах перегара, кровать, лампа, шторы приторных, характерных для лав-отеля¹ расцветок, а голова раскалывается с бодуна. Вскоре просыпается она и принимается искать на ощупь нижнее белье. Затем, натягивая кол-

¹ «Лав-отель» (от *англ.* «гостиница любви») — гарантирующая конфиденциальность специализированная гостиница, где номер снимается на 1—2 часа или на всю ночь.

готки, спрашивает: «Ты вчера не забыл надеть эту штуку? У меня сейчас как раз залетные дни». Ворча, разглядывая себя в зеркале: мол, болит голова и макияж не получается, — красит губы и накладывает ресницы. Все это было не по мне. Признаться, я бы вообще не оставался в гостинице до утра. Но убалтывать девчонку, помня о закрывающихся в полночь воротах¹, никуда не годилось (и даже чисто физически это было невозможно), поэтому я всегда брал разрешение на ночлег вне общежития. Таким образом, ничего не оставалось, как дожидаться утра и возвращаться в общагу, проклиная себя и собственные иллюзии. Ослепительно светит в глаза солнце, во рту все сохлось, на плечах, кажется, чужая голова.

Переслав таким образом три или четыре раза, я поинтересовался у Нагасавы:

— Тебя как, не опустошает? Вот так — семьдесят раз подряд?

— Если ты считаешь, что это должно опустошать, значит, ты не совсем конченный человек. И это радует. В бесконечных походах по женщинам ничего хорошего нет. Только устаешь и начинаешь себя ненавидеть. И я не исключение.

— Почему ты тогда продолжаешь?

— Трудно объяснить. Помнишь, как Достоевский писал об азартных играх. Вот и у меня примерно то же самое. Очень трудно пережить и пройти мимо окружающих тебя возможностей. Понимаешь?

— Ну да.

— Вечереет, на улицы выходят девчонки. Они тусуются, выпивают и требуют «нечто». А я это «нечто»

¹ По сей день существующая в Японии традиция запереть ночью в определенный час ворота или двери.

могу им дать. Все очень просто. Как не представляет труда открыть кран с водой, чтобы попить. Раз — и ты уже ее повалил. А ей только того и надо. Это и есть возможность. Разве устоишь, когда они вертятся вокруг? Плюс ко всему у тебя к этому есть способности и место, где ты можешь их применить. Неужели пройдешь мимо?

— Мне не приходилось бывать в таких ситуациях, поэтому не знаю. Даже представить себе не могу, — отшучивался я.

— В каком-то смысле это — счастье, — сказал Нагасава.

Причиной тому, что он, мальчик из обеспеченной семьи, жил в общежитии, и было увлечение слабым полом. Отец, беспокоясь, что от жизни взаперти сын в конце концов начнет бегать по девкам, настаивал на общежитии. Нагасаве было все равно — он и так особо не обращал внимания на правила. Когда возникало желание, брал разрешение на ночевку в городе и выдвигался на охоту за очередной пассией или шел в гости к какой-нибудь подруге. Разрешение ночевать за пределами общежития было делом хлопотным, однако у него имелся как бы «свободный допуск». Стоило лишь обмолвиться. То же самое распространялось на меня.

У Нагасава с самого поступления была и настоящая подруга. Они с Хацуми — так ее звали — были ровесниками. Я с ней познакомился. Очень приятная девушка. Не такая красавица, чтобы на нее все заглядывались, можно даже сказать, внешности совершенно обычной, и сначала я даже подумал: что нашел в ней такой человек, как Нагасава? Но стоило заговорить с ней, и никто не мог оставаться равнодушным. Было в ней нечто. Спокойная,мышленная, с чувством юмора, доброжелательная, всегда изысканно одета.

Она мне нравилась настолько, что, глядя на нее, я думал: была б у меня такая подруга, наверняка не спал бы с кем попало. Я, видимо, тоже произвел на нее впечатление, и она довольно настойчиво предлагала познакомить меня с кем-нибудь из младшекурсниц, чтобы устроить парное свидание. Но я не хотел повторять ошибок прошлого и под каким-то предлогом отказался. Хацуми училась в женском институте, известном скоплением дочерей мультимиллионеров. Не думаю, что я смог бы общаться с ними на равных.

Она догадывалась о регулярных похождениях Нагасавы, но ни разу за это его не упрекнула. Всем сердцем любила Нагасаву и ничего от него не требовала.

— Я ее не достоин, — говорил Нагасава. И я с ним был полностью согласен.

С наступлением зимы я нашел себе небольшую подработку в музыкальном магазине на Синдзюку. Платили немного, но работа была интересной, и меня устраивало, что достаточно приходить туда три раза в неделю по вечерам. К тому же я мог недорого покупать пластинки. На Рождество я подарил Наоко диск Генри Манчини с песней «Dear Heart», которая ей очень нравилась. Сам упаковал и перевязал его красной тесьмой. А Наоко связала мне шерстяные перчатки. Несколько жали пальцы, но главное — в них было тепло.

— Извини, я такая невнимательная, — покраснела от стыда Наоко.

— Все в порядке. Вот, смотри — помещаются. — Я натянул перчатки.

— Зато теперь ты не будешь засовывать руки в карманы, — сказала Наоко.

Она той зимой не поехала на зимние каникулы в

Кобэ. Я тоже работал до самого конца года и как-то сам по себе остался в Токио. Вернись я домой, делать там было бы нечего: видется я ни с кем не собирался. На каникулах общежитская столовая не работала, и я ходил есть к Наоко. Мы жарили рисовые лепешки, варили незамысловатые супы.

В январе и феврале 1969 года много всего произошло.

В конце января Штурмовик свалился с температурой под сорок. Из-за чего мне пришлось на время забыть о свиданиях с Наоко. Я с трудом достал нам с ней два пригласительных билета на концерт. Ей очень хотелось послушать свою любимую Четвертую симфонию Брамса. Однако Штурмовик метался в постели так, что казалось: он вот-вот коньки отбросит. Естественно, я не мог оставить его в таком положении и пойти на концерт. Найти сиделку не удалось, поэтому другого пути не было — только самому покупать лед, делать холодный компресс, вытирать влажным полотенцем пот, каждый час мерить температуру и даже переодевать его. Температура не спадала целые сутки. Однако уже на второе утро он подскочил и как ни в чем не бывало начал делать утреннюю гимнастику. Сунули градусник — тридцать шесть и два. «Ну не прод ли?» — подумал я.

— Странно. У меня за всю жизнь ни разу не было температуры, — сказал Штурмовик, будто в этом был виноват я.

— Но ведь появилась, — разозлился я и показал ему два неиспользованных билета.

— Хорошо, что это всего лишь пригласительные, — сказал он. Я хотел было вышвырнуть его радио в окно, но у меня опять заболела голова, и я улегся в постель и уснул.

В феврале несколько раз шел снег.

В конце февраля я из-за какого-то пустяка ударил старшекурсника, жившего на одном этаже со мной. Тот въехал головой в бетонную стену. К счастью, рана оказалась пустяковой, и Нагасава проворно замял дело. Однако меня вызвали в кабинет коменданта и сделали предупреждение, что подпортило мою дальнейшую жизнь в общежитии.

Так закончился учебный год, пришла весна. Я завалил несколько зачетов. По остальным предметам получил свои обычные оценки «С» или «D», было даже несколько «В»¹. Наоко сдала все зачеты сразу и перешла на второй курс.

В середине апреля Наоко исполнилось двадцать. У меня день рождения — в ноябре, поэтому выходило, что она старше меня на семь месяцев. Двадцатилетие Наоко вызвало у меня странное чувство. Казалось, что нам обоим было бы справедливей переместиться между восемнадцатью и девятнадцатью: после восемнадцати исполняется девятнадцать, через год — опять восемнадцать... Это еще можно было представить. Но ей уже двадцать. Столько же станет осенью и мне. Только мертвец навсегда остался семнадцатилетним.

В день рождения Наоко шел дождь. После занятий я купил поблизости торт и поехал к ней домой.

— Как-никак двадцать. Нужно отпраздновать, — предложил я: на ее месте я надеялся бы на то же самое. Проводить двадцатый день рождения в одиночестве казалось мне очень грустным занятием. Электричка была набита битком, к тому же сильно качало. Когда я добрался до дома Наоко, торт напоминал своей формой развалины римского Колизея. Я достал и

¹ Самой высокой является «А». При оценке «D» получить зачет проблематично. В вузах Японии обязательные зачеты можно не выдержать с первого раза и сдавать в последующие семестры.

воткнул в него двадцать маленьких свечей. Поджег их от спички, закрыл шторы, потушил свет. Как настоящий день рождения. Наоко открыла вино. Мы выпили, разрезали торт.

— Уже двадцать... чувствую себя как дура, — сказала Наоко. — Я еще не готова к этому возрасту. Странное состояние. Будто бы меня вытолкнули.

— У меня в запасе еще семь месяцев. Хватит, чтобы подготовиться, — рассмеялся я.

— Тебе хорошо — еще девятнадцать, — с завистью сказала Наоко.

За едой я рассказал ей, как Штурмовик купил новый свитер. Прежде свитер у него был один — школьный, темно-синий, и вот наконец Штурмовик решился на второй. Новый был красного и черного цветов с симпатичным вывязанным оленем. Прекрасная вещь, но, когда он ее надел и вышел на улицу, все чуть не покатались со смеху. Понять причину такого веселья он не мог.

— Ватанабэ, посмотри, как я выгляжу? — попросил он, сев ко мне в столовой. — Может, что-нибудь на лицо прилипло?

— Ничего там нет. Все в порядке, — ответил я, еле сдерживаясь. — И свитер хороший. У тебя.

— Спасибо, — расплылся в улыбке Штурмовик. Наоко слушала с интересом.

— Хочу его увидеть. Непременно. Хотя бы разок.

— Нельзя. Ты... будешь смеяться.

— Что, серьезно такой смешной?

— Могу поспорить. Я вижу его каждый день и сам иногда не могу сдержаться.

Пужинав, мы вымыли посуду и расположились на полу: слушали музыку и допивали вино. Пока я цедил один бокал, она успела выпить два.

В тот день Наоко была на редкость разговорчива. Рассказывала о детстве, о школе, о своей семье. Долго и отчетливо — будто чертила подробную схему. Я не мог не восхищаться ее памятью, однако начал замечать в ее манере речи некую странность. Что-то в ней было не так. Неестественно и искаженно. Сами по себе истории казались осмысленными, но подвох крылся в связи между ними. История «А» внезапно переходила в содержавшуюся в ней историю «Б». Затем в «Б» возникала история «В» — и так до бесконечности. Первое время я учтиво поддакивал, но вскоре перестал. Поставил пластинку, а когда она закончилась, поменял на следующую. Когда послушали все, что у Наоко было, опять поставил первую. Пластинок оказалось шесть. Цикл начинался с «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» и заканчивался диском Билла Эванса «Waltz For Debby». За окном продолжал лить дождь. Время текло медленно, и Наоко продолжала рассказывать.

Неестественность эта объяснялась нежеланием касаться некоторых тем. Одна из которых — естественно, Кидзуки. Но мне показалось, что уклоняется Наоко не только от нее. Лавируя между нежелательными темами, она продолжала бесконечный монолог о пустяках. Но так самозабвенно она говорила на моей памяти впервые, и я давал ей выговориться.

Но когда стрелка на часах перевалила одиннадцать, я не на шутку заволновался: Наоко не замолкала уже больше четырех часов. Мне нужно было успеть на последнюю электричку, к тому же в общежитии закрывали ворота. Я дождался подходящего момента и вклинился.

— Мне уже пора. Скоро последняя электричка, — сказал я, глядя на часы.

Но она, видимо, не услышала меня. А если услышала, то не поняла, о чем речь. На секунду умолкла и

сразу же заговорила снова. Я отчаялся и решил допить вино. Мне казалось, что лучше ее не перебивать. И я решил: будь что будет — электрички, ворота...

Но рассказ Наоко вскоре иссяк сам собой. Когда я обратил на это внимание, она уже молчала. И лишь обрывок фразы остался висеть в воздухе. Если выражаться буквально, ее рассказ не закончился, а куда-то внезапно пропал. Она пыталась его продолжить, но ничего не получалось. Будто бы что-то испортилось. И испортил, скорее всего, я. До нее наконец дошел смысл моих слов: потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить их, а на продолжение истории энергии не хватило. Приоткрыв губы, Наоко отрешенно смотрела мне в глаза. И походила на механизм, которому вдруг отключили электричество. Ее глаза заволочла непрозрачная пленка.

— Я не хотел тебе мешать, — сказал я. — Просто уже поздно. Вот я и подумал...

На глаза ей навернулись слезы. Потекли по щекам, покатались на конверт пластинки. Их уже было никак не остановить. Наоко уперлась руками в пол и, слегка подавшись вперед, будто ее рвало, рыдала. Я впервые видел, чтобы рыдали так сильно. Я протянул руки и взял ее за плечи. Те мелко тряслись, и я машинально обнял ее. Наоко продолжала бесшумно плакать. От слез и ее теплого дыхания моя рубашка промокла насквозь. Ее пальцы бегали по моей спине, словно отыскивая там что-то. Левой рукой я поддерживал девушку, а правой гладил ее прямые мягкие волосы. И долго стоял, ожидая, пока она перестанет плакать. Но она не унималась.

В ту ночь я переспал с Наоко. Я не знал, правильно поступаю или нет. Не знаю даже сейчас — спустя почти двадцать лет. И, пожалуй, не узнаю этого нико-

гда. Но в ту ночь ничего другого не оставалось. Она завелась, она была в панике. Хотела, чтобы я ее успокоил. Я потушил свет, неспешно и нежно раздел ее и разделся сам. Мы обнялись. Теплой дождливой ночью мы не чувствовали холода. Я и Наоко во мраке безмолвно ласкали друг друга. Я целовал ее и гладил руками грудь. Наоко сжимала мой отвердевший пенис. Ее вагина стала горячей и влажной и требовала меня.

Когда я вошел в Наоко, ей стало очень больно.

— Первый раз? — спросил я, и она кивнула. Здесь я перестал что-либо понимать. Я думал, что Наоко все то время спала с Кидзуки. Я ввел пенис как можно глубже и замер, прижимая девушку к себе. Когда она вроде бы успокоилась, я начал медленно двигаться и, не торопясь, кончил. Наоко крепко обхватила мое тело и застонала. То был самый печальный возглас оргазма из тех, что мне прежде доводилось слышать.

Когда все было кончено, я спросил, почему она не спала с Кидзуки. Не следовало этого делать. Наоко отстранилась от меня и опять неслышно заплакала. Я достал из ниши фuton и уложил ее спать. А потом закурил, всматриваясь в ливший за окном апрельский дождь.

К утру дождь прекратился. Наоко спала, повернувшись ко мне спиной. А может, ни на минуту не смыкала глаз. Спала она или нет, но губы ее лишились слов, а тело стало твердым, словно замерзло. Я несколько раз пытался заговорить, но ответа не получил. Она даже не шелохнулась. Какое-то время я всматривался в ее обнаженные плечи, затем отчаялся и встал с постели.

На полу с вечера оставались конверт пластинки и стаканы, винная бутылка и пепельница. На столе —

половинка развалившегося торта. Все выглядело так, будто время внезапно остановилось и обездвижело. Я собрал с пола вещи, выпил два стакана воды из-под крана. На столе у Наоко лежали словарь и таблица французских глаголов. К стене перед столом был приклеен календарь. Просто цифры — никаких картинок или фотографий. Белоснежный календарь, без надписей и пометок.

Я подобрал с пола одежду. Спереди рубашка осталась ледяще влажной. Я сунулся в нее лицом и почувствовал запах Наоко. В лежавшем на столе блокноте написал: «Как успокоишься — позвони. Поговорим спокойно. С днем рождения». Взглянул в последний раз на плечи Наоко, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь.

Прошла неделя, но телефон молчал. В доме Наоко телефонов не было вообще, и в воскресенье я поехал в Кокубундзи. Дома ее не оказалось, и табличка на двери была снята. На окнах — плотно закрытые ставни. Я спросил у консьержа: оказалось, Наоко три дня как переехала. Куда, он не знал.

Вернувшись в общежитие, я написал длинное письмо на адрес ее родителей. Куда бы она ни уехала, письмо ей должны были переслать.

Я откровенно описал все, что чувствовал.

Мне многое до сих пор непонятно, я пытаюсь изо всех сил все это осознать, но потребуется время. Где я буду спустя это время, даже не могу себе представить. Поэтому я ничего не могу тебе обещать, не могу разбрасываться красивыми словами и ничего от тебя не требую. Мы слишком мало знаем друг друга. Но если ты дашь мне срок, я сделаю все, и мы станем ближе друг к другу. Я хо-